

Лариса КЕФФЕЛЬ-НАУМОВА

## Цикл рассказов «КАЛЕЙДОСКОП ВОЙНЫ»

# КАРАВАЙ ХЛЕБА

Хозяйка маленькой деревенской булочной повернулась к посетителю спиной и, встав на скамейку, достала с верхней полки круглый чёрный хлеб.

— Герр Кунц! Ваш франконский<sup>1</sup> красавец! Хорошо, что заказали! Последний остался. Весь разобрали.

Приветливая невысокая женщина, продолжая рассказывать последние деревенские новости, тяжело слезла со скамейки и повернулась к нему. Наблюдающий из-за стойки за её действиями румяный широколицый старик с носом, похожим на утиный, в белой полотняной кепке на лысой голове, удовлетворённо посмеивался. Он родился и вырос здесь. Знал её ещё девочкой, и мать её, и бабушку, что поочерёдно держали булочную. В четыре часа утра уже светился огонёк. Выпекали хлеб. Проезжая мимо на смену на завод, он чувствовал, аж слюнки текли, этот хлебный дух, ни с чем не сравнимый запах готового, только что из печи, свежего хлеба.

— Спасибо, Хайке! — старик порывался в кошельке и положил на блюдечко чуть больше, чем стоил хлеб, пока она запикивала каравай в бумажный пакет.

Попрошавшись, он открыл стеклянную дверь. Вздрогнул колокольчик. Эрнст с удовольствием вдохнул прохладный воздух, пахнущий речной водой, и, опираясь на лакированную деревянную клюшку, начал свой ежеутренний путь на гору, к своему жилищу. Это был уже третий дом, в котором он жил. Второй, который построил. Разведясь с изменившей ему женой, он взял льготный кредит, купил подходящий участок и начал с нуля строить себе в современной части деревни, недалеко от родительского, новое пристанище. Сначала залил фундамент, затем пристроил к нему бетонный бассейн, вывел стоки для воды. В образовавшееся пространство навозил самосвалов с землёй. И особняк встал на ровном месте, не как у других, на косогоре, будто сейчас слетит вниз. На этом небольшом куске привезённой земли Эрнст разбил огород. Томаты, картофель, клубника, рабаба<sup>2</sup> для пирогов, зелень. Он привык к крестьянскому труду. Мать приучила. Строил он своё гнездо долго и любовно. Откладывал каждую копейку. Ему хотелось всё сделать по своему вкусу. Подсмотрел где-то скрытую подсветку в потолке и установил такую же в своей большой гостиной. Швею из деревни попросил сшить лёгкие, воздушные гардины, лишь обрамляющие, а не скрывающие от него вид за окном. Своему давнему другу, местному художнику, заказал несколько пейзажей с волшебными красотами Рейна. Настелил великолепный дубовый паркет. Когда отделка была наконец закончена, он попросил знакомого мастера чеканки изобразить на картине дом и написать:

«Я был построен, но был разрушен неверностью моей госпожи и восстановлен моим господином, без того, чтобы он стал нищим».

Повесил панно с чеканкой в холле при входе и стал искать новую жену. Нашёл через посредницу молодую венгерку с сыном-подростком. Сына выучил, венгерка, пожив с ним и получив гражданство, на десятый год сбежала, затребовав через адвокатов от него огромные алименты на жизнь.

Дышать становилось всё тяжелее. Гора становилась круче. Он выбрал место для строительства дома на таком уровне, что из окна был виден Рейн. Он мечтал об этом. Сидеть, попивать местное вино и видеть в окно, как по Рейну проплывали мимо корабли. Они были разные: пассажирские трамвайчики местного пароходства с музыкой

<sup>1</sup> Франконский крестьянский хлеб — Fränkisches Bauernbrot (нем.).

<sup>2</sup> Rababa (нем.) — ремень.

на борту, речные лайнеры с освещёнными стеклянными каютами, танкеры и контейнеровозы — рабочие лошадки Рейна. Поезда на другой стороне реки весело вылетали из туннеля в горе и серой змейкой, отстучав колёсами фокстрот и свистнув на полном ходу от избытка радости, мчались дальше к Майнцу, Вормсу, Манхайму, Франкфурту. Часто шли грузовые платформы с новенькими машинами его завода «Опель», на котором он проработал специалистом по отопительным системам сорок лет, получил пенсию от фирмы и даже прощальный подарок от дирекции — кованный вручную из меди торшер в виде фонаря. Крики уток и чаек доносились через приоткрытое окно, а Эрнст сидел и дремал под эти милые сердцу звуки. Вечерами он смотрел по телевизору программу немецкой народной музыки «Музыкальное подворье», рядом стояла бутылка «Дорнфельдера». Что ещё надо, чтобы спокойно провести старость?

\* \* \*

Когда началась война, Эрнсту исполнилось тринадцать. Брату Гансу — шестнадцать. Сначала забрали Ганса. А в конце войны пришла и очередь Эрнста.

Мать не пошла его провожать. Простились у приземистого старого домика, где он вырос.

— Вернись живым! — попросила мать.

Она была голландкой, очень сдержанной в проявлениях своих чувств. Её семья переехала сюда из Эльзаса, где отец работал на шахтах. Хильда вышла за немца, Хайнриха, — отца Эрнста, который умер ещё до войны.

Эрнст кивнул головой и хотел поцеловать мать, но она отстранилась. Похлопала по руке.

— Иди! Ну иди же! — почти оттолкнула она его от себя, и он пошёл по той же самой дороге, по которой шёл сейчас, только с горы, к вокзалу.

На сборном пункте в Бингене им раздали форму по размеру, посадили в вагоны и повезли к линии фронта, которая подходила всё ближе и ближе. Иногда они слышали отдалённый грохот, как будто где-то гремел гром. Была середина апреля 1945 года. Вагон был забит до отказа. На полках сидели, лежали новоиспечённые солдаты, но они больше были похожи на подростков. Слышались звуки губной гармошки, Эрнст заметил знакомых из своей школы. Но настроения балагурить не было. Дела на фронте обстояли хуже некуда. Русские их гнали без остановки, и понятно было, что позорный конец неизбежен. Эрнст лежал, глядел в потолок и думал о том, что совсем не умеет стрелять и те уроки, которые им давал пришедший в местное отделение гитлерюгенда нервный контуженный вахмистр, ничему его не научили. Он всё время мазал по мишени.

Захотелось есть, аж живот подвело. Скоро двенадцать дня. Мама в это время уже ставит на стол картофельную запеканку с грудинкой и сладкий голландский салат, или домашние Spätzle<sup>1</sup> с густой подливкой, или Eintopf<sup>2</sup>.

Когда сели в поезд, то увидели, что везде на багажных полках тесно друг к другу лежат круглые тёмные хлеба. Из расчёта на каждые четыре полки. В обед приезжал повар. Остановив тележку с большущей кастрюлей, он перво-наперво лез наверх, брал круглый каравай и отрезал всем по куску хлеба. Fränkisches Bauernbrot. А потом они подставляли миски, и в них лилась густая ароматная чечевичная похлёбка, тыквенный или картофельный суп-пюре. Эрнст лежал и думал о том, где сейчас старший брат Ганс. От него давно не было писем. Может, они встретятся там, где-нибудь на передовой?

Эрнст сел. Ссутулившись на полке, свесив ноги. Вдруг поезд резко дёрнулся, как будто столкнулся с чем-то. Юноша поднял голову, и в этот момент с верхней полки на него стали падать один за другим тяжёлые печёные хлеба. Один угодил ему прямо в лицо. Все произошло за секунды, он ничего не успел понять и потерял сознание. Эрнст очнулся на полу. Страшно болела голова. Каравай, испечённый из муки вперемешку с картофельными отрубями, весил много. Всё было залито кровью. Его кровью, которая шла из носа, не переставая. Рядом валялись хлеба. Над ним склонились новобранцы, делившие с ним закуток. Прибежал сержант. Санитар, немного повозившись, перемазавшись кровью и чертыхнувшись, приказал держать мокрую тряпку около носа и констатировал, что переносица вся раздроблена, кровотечение остановить нечем. Полив всё же для проформы йодом, так что ещё глаза чуть не сжёл, он объявил, что Эрнста на следующей станции снимут с поезда. Там как раз рядом лазарет.

<sup>1</sup> Немецкие (швабские) яичные макароны продолговатой формы, которые подаются в качестве гарнира или как самостоятельное блюдо.

<sup>2</sup> Ragout — блюдо, похожее на овощной суп, часто крестьянского происхождения, которое представляет собой полноценный обед, состоящий из смешанных продуктов, приготовленных в кастрюле.

— Приберите тут и положите хлеб назад! — гаркнул зло сержант возбуждённым приспешствием новобранцам.

Поезд затормозил. Эрнст стал вылезать и вдруг опять потерял сознание. Очнулся и попытался встать. Его вырвало.

— Носилки сюда! Заберите этого, — брезгливо поморщился сержант. — На него хлеб свалился.

— Хлеб?! — покатались со смеху санитары. — Вот Tollpatsch!<sup>1</sup> Не бомбы, а хлеб!

Они весело и ловко уложили парнишку на носилки и привычно, почти бегом, понесли их со станции, лавируя и обходя тех, кто попадался на пути. В лазарете пахло камфарой и карболкой. Ему отвели койку около окна. Сестра милосердия осторожно стёрла кровь и перевязала его. Спросила, что с головой. Проверила.

— У тебя сильное сотрясение, мальчик. Не спи, а то можешь не проснуться, — и будила всю ночь, подходя к нему.

Кругом стонали раненные, с соседних коек любопытствующие спрашивали, что с ним. Лицо Эрнста было перебинтовано, как у мумии. На голове лежала грелка со льдом.

Когда узнавали, что новенький свалился в поезде с полки и на него упал хлеб, начинали гоготать.

— Ну, ты даёшь, Pechvogel!<sup>2</sup> Я думал, налёт или что? Сколько тебе лет, бедняга? — сочувственно окликнул его, приподнявшись с кровати, молодой солдат с перевязкой на глазу и культёй вместо правой ноги, который лежал ближе всех.

— Семнадцать, — прошептал Эрнст пересохшими губами.

Около недели Эрнста шатало, и он плохо ел даже ту маленькую порцию, которой его кормили сёстры Гудрун и совсем юная Берта. Берту он стеснялся, и когда она, смеясь, наклонялась над ним, сердце уходило в пятки.

Уставший врач с красными от недосыпа глазами раздражённо приказывал пациенту стоять на одной ноге и дотягиваться до носа. Но ни того, ни другого этот рыжий нескладный солдатик с ногами, как у цапли, был не в состоянии проделать, а сразу норовил упасть, и упал бы, если бы не санитары. Всё-таки постепенно становилось лучше. Нос собрали. Наложили швы. Перевязки делали два раза в день. Остальное время больные играли в карты — у кого-то нашлась засаленная колода, а кто поумнее — в шахматы.

Одного за другим выздоровевших отправляли на близкий фронт. Случались налёты, но лазарет, на крыше которого красовался красный крест, не бомбили. Пришла очередь Эрнста собираться в дорогу. Было начало мая. За окнами вовсю цвела форзиция, покрывая весёлыми жёлтыми брызгами кайму из кустарника вдоль тротуара, ведущего к станции и в другую сторону. В город. Вот-вот распустится вишня. Совсем весна, только Эрнст никаких запахов не чувствовал. Томила тревога. Ещё чуть-чуть — и он увидит врага. К неизвестным русским он не испытывал ненависти. Всё было уже ясно. Война проиграна. И так не хотелось умирать в самом конце.

Эрнст отместился в военной комендатуре. Получил направление в N-скую часть, сел в вагон и поехал на фронт. В вагоне были почти одни новобранцы. Мальчишки. Где они их берут? Из Касселя и Кобленца, Кайзерслаутерна. Один всё кричал, будто убеждая сам себя, что фюрер не может не победить, и все отворачивались, опускали глаза. Они то и дело останавливались, пропуская военные товарняки с оружием и боеприпасами.

Восьмого мая их поезд остановился и уж очень долго стоял на запасном пути. Никто не понимал, что случилось, почему они здесь застряли. Затем в вагон зашёл офицер вермахта. Заорал как резаный:

— Ahtung! Ahtung! Ruhe!!!<sup>3</sup> — затем закашлялся, будто что-то застряло у него в горле. — Солдаты! — он оглядел полудетей и почти стариков, со страхом смотревших на него, набрал в грудь побольше воздуха и выдохнул: — Война закончилась! Сегодня Германия капитулировала. Из вагонов не выходить. Ваш поезд сейчас пойдёт назад.

Паровоз прицепили с другой стороны, и они поехали назад. Эрнст сошёл на узловой станции на рассвете 9 мая. Ещё одну остановку шёл пешком. Ума хватило пробираться задами, перелесками. Постучал в окошко. Мать открыла.

— Слава богу! — сказала она просто, когда узнала, что война закончена. — Теперь будем Ганса ждать. Я получила от него письмо. Он в плену во Франции.

Мать убрала его форму и дала сыну старую рубашку и штаны. Несколько дней он просидел в шалаше, который соорудил около их дальнего поля, в кустах, за цветущими старыми вишнями.

<sup>1</sup> Неловкий, невезучий человек (нем.).

<sup>2</sup> Неудачник (нем.).

<sup>3</sup> Внимание, Внимание! Тишина! (Нем.).

Потом пришли американцы.

Они особо не зверствовали. Юнцов вызвали по одному разу. Их списки нашли в местной организации гитлерюгенда. Накричали для острастки. Если не воевал, то отпустили. Выглядел Эрнст совсем мальчишкой. Одним словом, докапываться не стали.

Приказали найти работу или пойти учиться. Нос у Эрнста зажил. Но запахи не возвращались. Жаль, что он не может ощущать аромата маминых духов по воскресеньям, когда она собиралась в деревенскую церковь, и запаха еды, ваксы для ботинок, керосина и ещё миллиона вещей. Но это всё мелочи. Главное, что он жив.

К осени они вырастили с матерью хороший урожай. Закололи свинью и несколько гусей. Закрутили консервы и паштеты. Ганса всё не было, и писем от него тоже.

— Мама, он в плену. Может и год пройти, — успокаивал Эрнст мать.

Прошли осень и зима. Вернулся из плена друг Ганса и принёс им печальную весть. Пленных везли на открытых платформах через Францию в Англию, и французы, стоя не железнодорожных мостах, набрав побольше булыжников из брусчатки, забивали немцев до смерти камнями. Один из таких камней угодил Гансу в висок.

\* \* \*

Эрнст наконец, пыхтя, дошёл до дома. Постоял немного, отдышался, оглядывая свои владения. Вынул из кармана клетчатый носовой платок. Бумажные он не признавал. Вытер пот со лба. Осторожно, держась за перила, начал спускаться к двери по ступенькам, с удовольствием вдыхая утренний аромат уж очень разросшихся в этом году плетистых роз, образующих над головой подобие душистого цветущего лабиринта. Надо бы позвать садовника, чтобы пришёл, обрезал.

Однажды запахи вернулись к нему, а с ними и вся полнота и яркость ощущения жизни. Это случилось, когда он взял на руки своего первенца, Амина. Он осторожно прижал младенца к себе, поцеловал в головку с мягкими рыжеватыми, как и у него, волосками и вдруг почувствовал сладость, исходящую от малыша. В те дни он был совершенно счастлив.

В эти молодые, полные семейных радостей, годы он часто думал о погибшем брате Гансе. У того могли бы быть тоже семья и дети. И они ходили бы друг к другу в гости по выходным и вместе ездили бы в отпуск... Если бы не война. Если бы не этот идиот... Сколько своего народу погубил. А русских сколько! Миллионы! Что сделали ему русские?

...Стал ковыряться с ключом. Замок что-то заедал. Прошлой зимой мальчишки на Святки, на праздник Трёх королей, засунули в замочную скважину жвачку за то, что он не открыл им и не дал конфет.

Услышав, как он гремит ключами, дверь отворила жена.

— Марина? Ты услышала, как я пришёл? — он поцеловал её и протянул бумажный пакет с хлебом. — На, возьми!

Старик прошёл в гостиную и сел, отдуваясь, в своё любимое кресло перед телевизором. Из кухни послышалось:

— Хочешь квасу холоденького?

Третья его жена была русская.

— Спасибо. Не откажусь.

Жена Марина помогла ему переодеться в сухую рубашку и принесла кружку с прохладным квасом. Лучший напиток, который утоляет жажду. И почему квас не производят в Германии? Кроме русского магазина, нигде его не купишь. Марина поставила перед ним большую тарелку с закусками. Местный сыр, порционное масло, ветчина, салами и ломоть хлеба, который он только что принёс, были красиво разложены на блюде.

Эрнст откинулся в кресле, взглянул в окно. Мимо проплывал из Бахарача<sup>1</sup> пассажирский кораблик, на палубе было полно туристов. Да. Места у них красивые. Есть на что посмотреть! Навстречу маленькому судёнышку, против течения, спешил, отдуваясь, тяжело груженный контейнеровоз. Кораблик возмущённо запрыгал от встречной волны и, оправившись от испуга, побежал дальше. С палубы через открытое в комнате окно послышалась мелодия «Am schönen Rhein»<sup>2</sup>. Эрнст удовлетворённо улыбнулся. Да. Позади был долгий и непростой путь. Он не сдался. Стойко пережил все несчастья. Он много трудился и добился всего, о чём мечтал. Эрнст отхлебнул из кружки кваса и откусил ароматный хлеб. Каравай этого хлеба когда-то... когда-то спас ему жизнь. Он всегда покупал этот сорт хлеба, всегда...

<sup>1</sup> Bacharach am Rhein — древний городок на знаменитой дороге Старого Рейна.

<sup>2</sup> Песня «На прекрасном Рейне» (нем.).

# КАРТИНА

Галина сидела на скамейке на набережной и задумчиво смотрела на мощные воды, которые золотило закатное солнце. Сколько же лет она здесь не была?

Мимо то и дело проходили влюблённые парочки, косясь на неё. Увидев, что скамейка занята, шли дальше. Набережная никогда не пустует. Это так называемый местный променад. По утрам здесь совершают пробежки приверженцы здорового образа жизни. А попозже, днём, её занимают мамочки с колясками и пенсионеры. Вечером зажигаются высокие молочные фонари. Появляется больше семейных пар и молодёжи. Вид на Волгу потрясающий. На набережной много зелени, неумолчно шелестит в кронах лип и клёнов свежий ветерок. Под сенью старых деревьев можно спрятаться от зноя даже в самые жаркие дни лета. Смотровые площадки с удобными скамейками и столиками чуть выдаются в реку. Здесь хорошо посидеть, полюбоваться на кораблики, яхты под парусами, моторки, снующие туда-сюда, хлопаясь носами о волны. На протяжении всей набережной чугунная ажурная ограда. Есть и спуск к воде: можно помочить ножки, покормить уток, что особенно нравится малышам.

На входе со стороны парка отдыха стела с Вечным огнём — Аллея памяти. И зачем она отсюда уехала, от этого покоя и красоты? Что хотела найти в чужих краях? Наверное, счастье... А нашла ли?

Галина прилетела на днях в родной город Энгельс из Швейцарии по тревожному вызову сестры. Из торопливого телефонного разговора с Раей она ничего не поняла или надеялась, что поняла всё неправильно. Ей показалось, что Рая по своему обыкновению усугубляет ситуацию, и не всё так плохо, ужасно и безнадежно, как она вкратце обрисовала.

Галя уже несколько лет как вышла замуж за швейцарца и теперь жила в старинном, спокойном Люцерне. Оттуда, из прекрасного далёка, ей казалось, что и на её родине, в России, всё устаканилось и лихие 90-е ушли навсегда в прошлое. Бандиты теперь цивилизовались, отмыли деньги и закрепились в политике и бизнесе. Криминальные разборки, скандальные разоблачения и общее брожение в народе утихли. Безденежье и развал армии и милиции тоже вроде как остановились, или это ей виделось так из своего европейского рая. Новости туда плохо доходили. Швейцарцы были сосредоточены на самих себе, на своих внутренних делах. Телефонные разговоры оттуда дороги. С подругами и с роднёй она говорила по-деловому коротко: что купить, какие вещи прислать, справлялась о знакомых, чрезвычайных происшествиях и новостях у друзей.

Все завидовали Галине. Вот повезло! Тощая, страшненькая, с переломанным ещё в детстве, в яслях при падении, и поэтому чуть вдавленным носом и выступающей челюстью. Сорокалетняя. Никогда не была замужем, а вот ведь! Подхватила где-то швейцарца и прямо из коммунальной служебной комнаты московского ЖЭКа, где она трудилась дворником, махнула в манящее, благословенное, недостижимое для многих европейское изобилие. Галя не разочаровывала знакомых. Сама когда-то верила в эту картину сказочной жизни. Там хорошо, где нас нет. Она уже знала истинную цену этих глянцевого миражей, но нам свойственно мечтать о том, что где-то на свете есть чудесная страна с прекрасными горами и водопадами, замками и дворцами, и там живут всем довольные, богатые и счастливые люди. Поэтому не говорила им, что муж оказался скупым и подарки она покупала на те копейки, что зарабатывала, убирая квартиры у швейцарцев.

Вечерело. С реки повеяло прохладой. Галя надела ветровку, захваченную с собой на всякий случай. Уходить не хотелось, но дома ждала сестра.

Муж Раи, удачливый местный предприниматель, после многих лет завязки сорвался. Когда-то он здорово закладывал за воротник. Без этого трудно в те годы было наладить отношения с городскими начальниками, ударить по рукам с клиентами, разрулить с «нужными» людьми. Мог бы и спиться. Но встретив длинноногую черноглазую Раю, которая его образумила, таскала по клиникам, уговорила зашиться, пить совсем бросил. Да и бизнес надо было развивать. Как ни крути, а у него семья. Один за другим появились на свет дети. Старший Ванечка и младший Андрейка.

Галя нянчила малышкой сестры, а потом решила. Рванула в Москву. Устроилась по лимиту. Надеялась наладить и свою жизнь. Не век же ей ютиться с семьёй сестры. У Виталия, мужа Раи, бизнес пошёл в гору. Мальчишки выросли. Старший уже учился в Саратовском университете. И вот откуда ни возьмись пришла беда. Ванечка жил в Саратове один. Родители сняли квартиру. Во время частых наездов мать стала заме-

чать странности в поведении сына. Потом понял. Ваня пристрастился к наркотикам. Свобода, отсутствие постоянного контроля, друзья, собиравшиеся в съёмной квартире, пирушки, попойки... Денег родители давали достаточно, чтобы отпрыск ни в чём не нуждался. Не сразу сестра уразумела, что с Ваней случилось. Ничего же не знали об этой заразе и о том, как её различить. Вроде не пьяный сын, а какой-то странный. В школе учился хорошо. Закончил с золотой медалью. А тут вдруг желание учиться у него пропало. Прогулы. «Хвосты». В один из своих приездов Рая вошла к спящему сыну. Во сне разметался. Хотела накрыть его одеялом и вдруг увидела синяки на откинутой тыльной стороне руки, следы от укулов, и наконец всё поняла.

На Виталия надежды мало. Узнав обо всём, он и сам, недолго думая, утопил нос в рюмку. Рая кидалась в поисках помощи к бабкам, гадалкам, шарлатанам всех мастей. Совсем от горя потеряла голову.

Галя выпросила у мужа денег. Поворчал, но хоть сколько-то дал. Взяла займы ещё и у подруги в Москве. Рая всегда жила на широкую ногу, и всей нужной суммы ей самой собрать не удалось. У Виталия все деньги были в деле.

На днях уложили Ваню на платную реабилитацию, мужа, Виталия, в частную клинику. Младший, Андрюшка, был при матери. Заканчивал школу.

— Этого никуда не пущу! — рыдала Рая.

— Ну не можешь же ты держать его всю жизнь под юбкой? Вроде парень с головой. Тебя жалеет. Помогает, — успокаивала Галя.

— Вот Виталий выйдет из клиники. Пусть идёт к нему в фирму. Будет на глазах.

Виталий торговал стройматериалами. Леса в этих местах всегда хватало. Да и желающих строиться было много. По обоим берегам реки появлялись новые дачные посёлки для состоятельных людей.

Галя задумалась. Надо на кладбище к маме сходить. С этими заботами все дни недосуг, а уж и уезжать скоро.

Она вспомнила, как мать рассказывала о своей трудной послевоенной жизни. Однажды — они с сестрой были ещё девчонками — после купания в затоне загорали на пляже. Мать махнула куда-то назад рукой:

— А ведь здесь, неподалёку, был лагерь военнопленных. Я там работала.

— Мам! А немцы страшные были? — Галя с Раей, лёжа на одеяле, ели хлеб с колбасой.

— Да какие «страшные»? Обыкновенные. Люди как люди, — мать погладила Галку, что лежала поближе к ней на полотенце, по головке. Вторая дочка, Рая, доела свой бутерброд, вскочила с полотенца и побежала купаться. Ей было неинтересно.

— Ну как же! Они же фашисты были! — удивилась меньшая, Галя.

— Были, конечно. Только странно мне сейчас думать об этом.

— Почему?

— Да потому, что смиренные они были. Вроде не злые. Вежливые. Все мне спасибо за мою стряпню говорили. Работали споро. Худые, а две нормы давали. Аккуратные. Брёвнышко к брёвнышку.

— Ну они же были пленные. Вот и слушались, — брезгливо поморщилась дочь, доедая хлеб.

— Ты вот ешь хлеб с колбасой и думаешь, что это обычное дело. Да?

— А что здесь необычного? — удивилась Галя.

— Время послевоенное было, голодное. Похлёбка да хлеб. Хлеба, правда, в достатке привозили. Я их подкармливала иногда. Лишний кусок давала. Остатки с кухни.

— Зачем? Они ведь столько русских убили! — Галя с возмущением смотрела на мать.

— Как зачем? Мы же люди. И они люди. Тоже, наверное, не по своей воле на войну-то пошли? Погнали. Гитлер ихний.

— Мам! Ну как ты можешь? Это же фашисты!

— А вот ты бы каждый день посмотрела на них, как они едят из мисок, коркой-то вытирают, мыть миску после них не надо, — мать помолчала, глядя на дочь с укоризной. — Они своё наказание выдержали все до конца. Отработали, город нам выстроили. Это ж солдаты. А с душегубами был у нас другой разговор. Расстрел. А эти на поле боя воевали.

— Мама! Ты что говоришь? У нас миллионы погибли.

— Погибли. И что? Разорвать немцев теперь на куски? Этим нашему горю не можешь. Страшная у них в голове каша была. Когда внушают тебе всё время одно и то же, что ты какая-то высшая раса, что коммунисты, евреи и все славяне — твои враги... Эх, дочка! Многого ты ещё не понимаешь... — мать задумалась. — Один пленный мне на кухню помогал. Звали его Йоханнес, Иван, значит, по-нашему. Он как всё сделает по хозяйству, сядет около меня и ну плакать.

— Почему?

— Вытащит карточку из кармана. Показывает. Жена и двое девочек. Вот как вы. И плачет, плачет. Я ему говорю: «Вот отбудешь положенный срок и поедешь к своей фрау, Йоханнес. Не горюй!» Ты же знаешь, где немецкое кладбище? Много их здесь осталось. Потом родственники из Германии на могилы приезжали.

— А этот? Йоханнес? Он уехал? — с ужасом, чувствуя в себе поднимающуюся непонятно откуда, неожиданную жалость, тихо проговорила Галя. Она сама не поняла, почему ей вдруг захотелось, чтобы этот немец выжил и уехал домой, к жене и детям.

— Да. Их отпустили в пятидесятом. Когда уезжал, все кланялся мне. Руку к сердцу прикладывал. Он меня «Schwesterchen» звал. Сестрёнка, значит. Я молодая совсем была.

У Гали сжало горло. Отвернулась, чтобы мать не увидела.

Мать все же почувствовала. Похлопала по руке.

— Так-то, дочка... Русский человек — добрый. Ничего. Пусть помнят нашу доброту. А вот я тебе ещё историю расскажу...

Валентина Петровна улыбнулась. Сама не понимая почему, разоткровенничалась. Никогда раньше не рассказывала никому об этом. Она продолжила, чувствуя интерес дочери:

— Немцы жили все в длинных дощатых бараках. Одна стена у них глухая, а на другой были окна в ряд с решётками. Внутри стояли по обеим сторонам двухэтажные нары. Вот в одной бригаде оказался паренёк. До войны, видно, на художника учился. И вот как-то красили они бараки. Этот пленный набрал разных цветов краски со всего лагеря. Загрунтовал стену барака и стал по вечерам рисовать, отодвинув нары. Хватилось начальство проверять, как они бараки-то покрасили. Видно, доложил кто-то. Глядь — а там во всю стену картина нарисована. Небо голубое, а позади горы со снежными вершинами. На зелёном лужке пасутся коровы. Пастух играет на свирели. Лопасты мельниц виднеются. На переднем плане домики, с мощёными камнем улочками, как из сказок немецких, которые я вам читала. Дома белые, с коричневыми балками. Из окна одного вылезла, выбивает матрас женщина в кружевном чепце. На другой стороне немец в шапке с пером и смешных коротких штанах сбрасывает со спины мешок на повозку смирной лошадёнке. На доме вывеска с сапогом. Деревья кудрявые, палисадники с чудесными цветами. Аптека, гостиница. Улочка, видно, центральная вьется. И по ней идёт юноша. Молоденький. С котомкой за плечами. Вроде подмастерье. Он обернулся и смотрит радостно с картины. Из раскрытой калитки бежит женщина, прохожие останавливаются. Шапки снимают. Смотрят на него. Мне потом Йоханнес-то объяснил. Это он домой вернулся. Подмастерье-то. Они у них странствуют три года, — мать помолчала. — А может, это они представляли, как сами домой вернуться, и это им давало силы жить. В плену-то, поди, не сахар, — Валентина Петровна покачала головой. — Одним словом, сотворил он простой малярной кистью настоящую немецкую деревню. Только не современную. Сказочную. А вместо рамы нарисовал гирлянды роз и виноградные гроздьи и листья. Как ему удалось всё это написать, да так быстро? Видно, талант к этому имел. Охрана было хотела всё это закрасить, но дошло до начальника лагеря. Повели парнишку к нему. Какая картина? Не поверил. Сам решил посмотреть. А как увидел, то приказал не трогать. Весь лагерь ходил в их барак смотреть на эту красоту. А для немцев, наверное, эта картина была памятью о далёком доме, надеждой на возвращение, — мама вздохнула: — Нельзя, дочка, на зло отвечать злом. Они и так пленные. Им хватило.

Галя очнулась от воспоминания. Поёжилась. Ветер всё-таки сильный. Над грядью водохранилища гасли краски яркого сентябрьского заката. Уже зажглись фонари. Она поднялась и пошла по набережной, застёгивая на ходу ветровку.

Завтра надо обязательно съездить на могилу к маме.

# ИСТОРИЯ ОДНОГО РУССКОГО

Виноградники в Германии осенью представляют собой живописное зрелище. Воздух прозрачен, даже голубоват, и тени от обрезанных лоз, что ровными рядами уходят куда-то к самому горизонту, придают всему пейзажу геометрическую завершенность. Эта гармония, разлитая в природе, это тихое умиротворение осеннего ландшафта, нежаркого октябрьского солнца, которое изливало своё тепло на эту благодатную землю, кажется, были здесь всегда.

Между ухоженными, уже подготовленными к зиме наделами можно было различить фигуры двух женщин, мальчика и собаки. Женщины медленно шли по просёлочной дороге, мимо пологих склонов холмов, направляясь, видимо, к селению, которое угадывалось по лёгким дымкам, поднимавшимся ровными столбиками из невидимых пока труб в долине, за пригорком. Малыш на трёхколесном велосипеде пылил впереди. Рядом с ними крутилась огромная собака, похожая на белого волка. Она то уносила в виноградники — за мышами, которые водились там в большом количестве, то снова налетала на своих хозяев, выписывая от радости круги и поднимая облако пыли.

Короткую стрижку той, что помоложе, русой, курносенькой большеглазой девушки, раскрасневшейся от ходьбы и разговора, ворошил ветер. Концы красной шали с бахромой, небрежно повязанной поверх белой стёганой куртки наподобие башлыка, взлетали от его порывов, словно крылья. Звали её Мария. Приехала она из Москвы. Уже несколько лет как она была замужем за коренным немцем, Карстеном, и с мужем и маленьким сынишкой жила неподалёку, в городе Вормсе, на берегу Рейна.

Та, что постарше, Ута, приходилась ей свекровью. Она была, будто для контраста, шатенкой, смугловатой, с пронзительными глазами под густой чёлкой, прямыми волосами до плеч, во всём черном, при ходьбе она выставляла вперёд длинный желтый зонт как лёгкую опору. Показывая зонтом на участок, мимо которого они проходили, свекровь рассказывала что-то о последнем сборе урожая. Прошедшее лето было солнечным. Дождей немного. Лоза набрала сок, в этом году ожидался отличный букет бургундера, и рислинг должен получиться мягким на вкус. Виноградари этой общины, как и во всём регионе Райнгессен, выращивали множество сортов, всех и не упомянуть. Горячие уборочные деньки были уже позади. Трудилась вся деревня. Маша тоже научилась срезать тяжёлые созревшие кисти, напитанные солнцем, и аккуратно укладывала их в большую плетёную ивовую корзину. Набрив полную, ставила себе на плечо и, поддерживая руками, несла к грузовичку. Там виноград перекладывали в ящики, грузили в кузов и увозили на переработку на винный заводик, что находился на окраине деревни. В перерывах все работники щедро угощались местным домашним сыром и тёплым хлебом, прямым из деревенской пекарни, запивая всё кофе из термосов, что приносили с собой.

Приезжали помогать и люди из других мест. Несколько раз в году — в сентябре и октябре — хозяева наделов устраивали «дни открытых дверей». Это весьма необычный вид отдыха: гости помогают со сбором винограда, участвуют в традиционном празднике вина, завершающемся торжественным шествием по улочкам деревни, дегустируют популярные сорта и пробуют молодое вино — Jungwein<sup>1</sup>, угощаются местными деликатесами, среди которых центральное место занимает, конечно, луковый пирог.

Маша, впервые попробовав на праздниках этого самого молодого вина и не подозревая ещё о его коварстве, на следующее утро мучилась от неожиданного похмелья. Напиток пился легко, а потом ударял в голову, и «дегустатор» терял всякий ориентир.

Сам собой разговор незаметно перешёл на то, что Ута любила и умела. Заговорили о живописи. Места, по которым они сейчас прогуливались, притягивали Уту, как магнит. Маша понимала свекровь. Сама она не умела рисовать и поэтому восхищалась матерью мужа, талантливой художницей-самоучкой, умеющей схватить момент, запечатлеть красоту Weinberge — винных гор, весной светло-изумрудных, переходящих в тёмную сочную зелень летом, желто-пурпурных осенью, — которые та много рисовала. Дома в папках лежали десятки набросков. Много законченных рисунков было развешено по всему дому. Одна картина, которая висела в гостиной у свекрови, постоянно притягивала Машу к себе. Шпиль деревенской церкви среди черепичных крыш

<sup>1</sup> Юнгвайн, молодое вино (нем.) — вино, алкогольное брожение которого еще не закончилось и которое еще не отделено от осадка. На вкус напоминает русскую брагу.

деревни в отдалении, а на первом плане алеющая роскошь виноградников. Акварель была написана в бордовых тонах, филигранно и в то же время импрессионистично, свободной кистью. Композиция была выстроена превосходно. Маше казалось, что даже лучше, чем у Ван-Гога на его картине, где он изобразил виноградники с видом на какую-то деревушку. С трудом припомнила её название — «Виноградники и вид на Овер». Да к тому же он работал маслом.

— Как ты это написала? Что это за техника? — спросила она с восхищением, когда увидела картину в первое посещение дома.

— Красное виноградное вино, — ответила свекровь. — Его сгущают определённым образом и пишут. Где гуще, где более размыто, чтобы картина заиграла полутонами и не выглядела слишком тёмной, однотонной. Да... — Ута посмотрела с удовлетворением на своё произведение. — Эта мне удалась. Я её написала за один день. Акварелью надо работать быстро. Это не масло. Исправить не удастся.

В каждый свой приезд Маша неизменно застывала у картины.

— Так уж и быть. Буду умирать, в завещании напишу, чтобы картину тебе отдали, — смеялась художница. — Мое семейство в этом ничего не понимает. Бог воображением никого не наделил. Вот сноха и получит.

Гундерсхайм и окрестности были источником вдохновения свекрови. Она часто уходила на пленэр. Мэрия даже устроила её персональную выставку, а потом Уте пришла мысль сделать маленькое художественное кафе, которое она открывала, когда было настроение. Туда заглядывали местные домохозяйки и проезжие туристы выпить по чашечке кофе, а иные просто поболтать и поглазеть на картины Уты. Правда, долго эта затея не продержалась. Плата за помещение оказалась слишком высокой.

В эти выходные Маша с мужем и сыном гостили у неё. После сытного обеда — свекровь имела собственный огород и была великолепной кулинаркой — они оставили мужа, Карстена, дома в помощь отчиму и вышли на прогулку со старой собакой Макси. Макси имела устрашающий вид, однако впечатление это было обманчиво. Собака была доброй, и когда сын, мастак на проделки, таскал её за хвост или дергал за ухо, она только жалобно повизгивала. Понимала, что ребёнок.

Деревня могла похвалиться и богатой историей. Местные гиды показывали туристам древние развалины и камни мостовой, хранящей следы римлян, наполеоновских войск и прочих охотников за счастьем, которые перманентно и с превеликим удовольствием ходили и скакали туда-сюда по Европе. Маша, осмотрев достопримечательности один раз, не понимала восторгов по этому поводу. Ну, ходили и ходили. Не целовать же эти руины? Но жители Гундерсхайма любовно дрожали над каждым камушком. Немцы любят свою древность. И потом, это приносит доход.

Они уже возвращались обратно в деревню, островерхая кирха и черепичные крыши которой выплыли из-за поворота, как на той самой картине Уты, которая так полюбилась Маше. Малышу наконец надоело крутить педали. Он затормозил и требовательно спросил, обернувшись назад:

— Ома<sup>1</sup>, мы пойдём есть мороженое? Ты обещала!

Ута махнула ему согласно рукой, чтобы ехал дальше, и сказала Маше, будто вспомнив о чём-то:

— Послушай, девочка... Я тебе хочу кое-кого показать.

— Кого? — Маша с любопытством посмотрела на свекровь.

Все знакомые считали их подругами. Маше вообще нравилась Ута не только как самобытная художница. В ней была женская самостоятельность, решительность и какой-то особый философический, чуть ироничный взгляд на все жизненные трудности. В своё время она не испугалась, бросила мужа, обедневшего аристократа-самодура, и переехала из Бремена, с севера Германии, с двумя маленькими детьми сюда. Взяла ссуду в банке, купила по дешёвке полуразрушенное старое здание бывшего детского сада, где не было отопления и воды, зато была огромная изразцовая печь, и начала жизнь с чистого листа. Днём работала секретаршей. Ночью подрабатывала официанткой в локале<sup>2</sup>. Плакала от усталости, но пунктуально выплачивала ссуду. Уже много позже она встретила своего второго мужа — Ханса.

— Я тут познакомилась с одним русским.

— С каким русским? — удивилась Маша.

— Он здесь остался после войны.

— Как остался? Не может быть!

— Он часто по воскресеньям приходит в местный ресторан. Сидит один и всегда заказывает водку. Иногда здорово набирается. Тогда за ним приезжает жена.

— Тоже русская? — обрадовалась Маша. У неё в то время было ещё мало русских

<sup>1</sup> Бабушка (нем.).

<sup>2</sup> Кафе, винный погребок (нем.).

знакомых, а так хотелось иногда поболтать с кем-нибудь на родном языке.

— Нет. Жена немка. Она из рода фермеров-виноделов из соседней деревни. Ему уже за восемьдесят. Эрнэ немного моложе.

Мария про себя подумала, что Ута что-то не поняла и спутала какого-нибудь старого поляка, которых здесь пруд пруди, с русским. Откуда здесь русский, да ещё с войны?

Собаку и велосипед, проходя мимо, они оставили дома у свекрови. На фасаде красовалась надпись, выложенная тёмным кирпичом: «Kindergarten 1900»<sup>1</sup>. Затащив велосипед в дом и привязав Макси у конуры на заднем дворе, они направились по старой брусчатке узких улочек к местному деревенскому ресторану Burgunder Turm<sup>2</sup>, который снаружи и правда был похож на маленький средневековый замок. Петер бежал впереди и каждую минуту крутился волчком, оглядывался и подпрыгивал от избытка энергии, заодно проверяя, идут ли они за ним. Когда они вошли, устроились за столом, застеленным скатертью в синюю баварскую клетку, и сделали заказ — ребёнку два шарика мороженого, а им по чашке капучино, — Ута чуть заметно кивнула головой, указывая куда-то вглубь ресторана.

За небольшим столиком на одного у окна сидел пожилой мужчина. Он, как и все находившиеся в ресторане, заметил их шумный приход и чуть исподлобья разглядывал их. Свекровь махнула ему приглашающе рукой, и он, с трудом поднявшись, заковылял к ним, слегка улыбаясь.

— Садись, Алекс! Как поживаешь? — Ута показала на стул напротив Маши.

Петер перестал на минуту ковырять длинной ложкой мороженое и с интересом уставился на незнакомого дедушку. Мужчина тяжело опустился на стул боком, облокотившись на столешницу, и спросил, махнув рукой с зажатой в ней кепкой, обращаясь к свекрови:

— Это внук? В гости приехал?

Ута улыбнулась.

— Да. Это наш Петерхен, а это моя сноха Мария. Она русская.

Мужчина взглянул на Машу, как ей показалось, несколько ошарашенно. В глазах она прочла настороженность, если не явный испуг, однако при этом он удивлённо всплеснул руками. Вроде как обрадовался.

— Русская?! Вот это сюрприз! Откуда? То есть я хотел сказать, из какого города?

— Из Москвы!

Старик приподнял кустистые брови.

— Из самой Москвы? — покачал головой. — Не бывал.

— Алекс тоже русский, — напомнила Ута и выжидательно посмотрела на Машу.

Марии была не то чтобы очень любопытна его история. Старики любят утомительно долго рассказывать, и в молодости мы не слушаем эти подробные до оскомины воспоминания из прошлого и не придаём им особого значения. Совсем по-другому, с иным чувством и вниманием мы по прошествии лет послушали бы рассказы своих уже ушедших из жизни бабушек и дедушек, запомнили бы все детали, выпытали бы у них все подробности, которые легкомысленно пропускали мимо ушей. Но теперь слушать некого. Маше очень не хватало всю жизнь отца, который рано умер. Она бы долго-долго говорила с ним. Так много она не успела у него спросить.

— Вы русский? А откуда? Вы давно здесь?

Мужчина посмотрел на Марию как-то странно.

— Давно, — он помедлил и уже на русском произнёс: — Я здесь в лагере был.

— В каком лагере?

Маша всё ещё не понимала.

— Лагерь был здесь. Для военнопленных. В Цигенхайне, — он с трудом подбирал слова. Видно, ему долго не приходилось говорить по-русски.

— А почему?... Почему вы здесь остались, ведь вас же, наверное, освободили?

— Освободили... — он тяжело вздохнул, опустил глаза, задумчиво стряхивая со стола ручищей-лопатой несуществующие крошки. Маше даже показалось, что он несколько смутился. Повернулся к ней, облокотившись на стол. Вновь взглянул, будто силился что-то сказать и не мог. — Да... Освободили нас американцы в сорок пятом.

— А почему вы не вернулись в Россию? — настойчивость вопроса и, как она потом поняла, её абсолютное незнание этой страницы истории войны, видимо, обидели его.

— Не мог. Время было такое.

— Какое время?

О чём он говорит, ради всего святого?! Была Победа! Флаг над Рейхстагом, салют над Москвой!

<sup>1</sup> «Детский сад 1900» (нем.).

<sup>2</sup> «Бургундская башня» (нем.).

— Не хочу об этом вспоминать, — Алекс решительно поднялся. — Ну, не буду вам мешать, — сказал он Уте по-немецки и поковылял обратно к своему столику.

Маша виновато посмотрела на свекровь.

— Что ты ему сказала, Мария? Почему он ушёл?

— Не знаю, — Маша поняла, что совершила какую-то бестактность. — Я спросила, почему он не уехал в Россию, и всё! Он, оказывается, был в плену здесь у вас в лагере. В Цигенхайне.

— Да. Он говорил.

Лаконичность свекрови была понятна. Ута не хотела продолжать эту тяжёлую тему. Её отец погиб в России под Сталинградом, они старались не касаться в разговорах друг с другом того, что было связано с войной. Германия была нацистской. Русские победили. О чём ещё говорить?

— Ома, ома! Я хочу шоколадный пирог! — неугомонный сынуля, доев мороженое, вытер рот салфеткой, и ему стало скучно.

— Нет, дорогой мой. Иначе ты окончательно перебьёшь себе аппетит. К вашему приезду я испекла Käsekuchen<sup>1</sup>. Ты всё получишь дома, — Ута строго посмотрела на внука.

— Тогда пойдём быстрее домой! — нетерпеливо топнул ногой под столом мальчуган. — Опа<sup>2</sup> обещал нам с Майке, что разрешит поиграть в домике на дереве.

Майке была его деревенской подружкой, а домик на старом сучковатом дубе, который смастерил Ханс, покладистый муж Уты и крёстный Петера, служил им местом для игр.

— Послушай, Ута... — Маша взглянула на свекровь и решительно сжала её руку. — Вы идите. Я ещё побуду здесь. Мне надо этого русского кое о чём расспросить. Я скоро приду.

Свекровь понимающе кивнула. Петер было занял, несносный мальчишка, но Ута, расплатившись, взяла его за руку и потянула к двери. Кельнерша, смеясь, дала малышу карамельку, и пока он её разворачивал, бабушка вывела его из кафе.

— Пойдём. Мама скоро придёт. Ей надо поговорить с тем дедушкой.

Маша осторожно подошла.

— Разрешите мне присесть к вам? — сказала она чётко по-русски.

— Садись, — казалось, что старик ждал. Обрадовался.

— «Алекс» — это Алексей? — спросила она, чтобы как-то начать разговор.

— Да. Алексей.

— У меня папу звали так же. А отчество?

— Иванныч. Отец-то жив?

— Нет. Умер.

— Хочешь чего-нибудь выпить? — он жестом подозвал кельнершу.

— Яблочное шорле<sup>3</sup>, пожалуйста. Спасибо.

В этот момент он почему-то напомнил Маше старого Жана Габена. Насторожённый взгляд бесцветных стариковских глаз под тяжёлыми веками, глубокие морщины на лбу и щеках, упрямый подбородок, крупный, с красноватыми прожилками, нос, седые волосы зачесаны назад. Тяжёлые трудовые руки лежали на столе.

Принесли напиток — яблочный сок с минеральной водой. Она отпила и выжидательно посмотрела на Алекса. Старик тоже пригубил из своей рюмки. Маша заметила, что у него на большом пальце левой руки был отбит ноготь.

— Алексей Иванович, расскажите, как вы оказались здесь? Почему остались? Нас сейчас никто не слышит. Просто для меня. Расскажите, — она молитвенно сложила руки.

— Я сам-то родом из Витебска. Слыхала о таком?

— Да. Это в Белоруссии.

— Точно! Ты смотри!.. — удивился почему-то старик. Покряхтел, удобнее усаживаясь на стуле. — Ну так слушай, раз просила... как я сюда попал... Когда началась война, мне только исполнилось шестнадцать. Пошёл на завод. Мы собирали мины. Потом, когда уже призвали в армию, воевал в пулемётном взводе. Позже попал в партизанский отряд в Белоруссии. Через некоторое время вызвал меня наш командир: «Решили мы тебя, Лёша, послать с диверсионной группой. Будете взрывать дороги и мосты на оккупированной территории. Согласен? Парень ты толковый. Подрывное дело знаешь». Ну как тут не согласиться? Все сознательные были. Доверили — значит, надеются, что сделаем, — старик замолк. Долго глядел в окно, похоже, что-то вспоминая. Где были его мысли сейчас? — Ну, так вот... На военном самолёте нашу группу отправили

<sup>1</sup> Творожный пирог (нем.).

<sup>2</sup> Дедушка (нем.).

<sup>3</sup> Сок, смешанный с газированной водой.

в Ленинград. Через пару дней сбросили в тылу у немцев, в Эстонии. Сказали, что следом, на другом самолёте, сбросят нам взрывчатку и запас продовольствия, но никто больше не прилетел.

— Как? Почему? — Маша сочувственно покачала головой... История стала захватывать её.

— Война... — пожал плечами Алекс. — Видно, самолёт на обратном пути сбили немецкие зенитки или мессеры. А о нас забыли.

— Как забыли? Разве такое могло случиться?

— Тогда всё могло случиться. Слушай, что дальше-то было... Мы какое-то время скрывались по хуторам, а потом напоролись на карателей. Услышали русскую речь, обрадовались. Свои! Братцы! А когда подошли поближе и встали, не таясь, в полный рост, было уже поздно. «Русские» были в немецкой форме полицаев. Попали в плен.

— Ах! Боже мой! — вскрикнула Маша, в ужасе приложив ладони к пылающим щекам.

Она поняла по лицу старика, как внезапно всё произошло. Полицаев оказалось много. Они двигались растянутой цепью. Немцы послали их прочёсывать окрестности, узнав, что недавно видели над лесом самолёт с красными звёздами. Силы были неравны.

В ресторане всё больше косились на странную пару. Эти двое на русском разговаривают, да ещё слишком громко. Но старик, казалось, не обращал на это никакого внимания.

— Да. И вот оказался я в Тарту. В пересыльном лагере. Потом Двинск. Тоже лагерь для военнопленных. Дальше был... — он поморщился, вспоминая. — В Литве город...

— Вильнюс? — подсказала Маша.

— Нет. Каунас. Да, Каунас! — утвердительно произнёс старик. — Оттуда в товарных вагонах нас повезли во Франкфурт, а потом дальше, в Цигенхайн. Ну, едем, значит. Куда нас везут, никто толком не знал. Другие пленные как-то разведали, что перевозят нас уже в конечный пункт, где мы останемся надолго.

Алекс недобро усмехнулся.

— От нечего делать смотрели в щёлки вагона на игрушечные домики, садики, цветники. Глазели на хорошо одетых немков в ботах и чудных фетровых шляпках, когда проезжали станции. Нас почти не кормили. Баланда и маленький кусочек эрзац-хлеба. В дороге многие умерли от голода, болезней и ран. Помощь никто не оказывал. Сами поили лежачих, перевязывали, как могли. Наконец нас привезли, как потом я узнал, в центральный для IX военного округа штаммлагерь<sup>1</sup> — «Шталаг IX А, Цигенхайн» он по-немецки назывался.

Алекс посмотрел на нетронутую рюмку шнапса, стоящую перед ним. Отодвинул подальше.

— Разбудил нас лай овчарок, крики охранников: «Шнелер, шнелер! Ауфштейен!»<sup>2</sup> Они тыркали нас прикладами автоматов, ногами по чему попадет, по рёбрам, по спине. Поезд наш прибыл на вокзал рано утром. «Северный вокзал», так он назывался. Находился он ближе всего к лагерю. Разгрузили нас здесь, чтобы, значит, пленных через весь город не вести. Видно, не очень они хотели, чтобы мы попались на глаза местным жителям. Вагоны открыли и сначала приказали нам выгрузить и снести в конец станции умерших, там уж их зондеркоманда кидала в закрытые грузовики, стоящие у платформы. Потом построили нас в колонну и повели к лагерю. Следом ехала машина. Оттуда торчали четыре спаренных пулемёта. Мы косились на пулемёты позади, поддерживали друг друга. Некоторые из наших идти почти не могли, так они были слабы. Приходилось буквально тащить их на себе. Но опасность быть застреленным придавала сил. Ковыляли кое-как.

Старик посмотрел на Машу.

— Вот так-то, девочка.

Минуту спустя продолжил:

— Улицы перегородили, но местные всё равно выглядывали из окон. Кое-где ранние прохожие, среди которых были и женщины, останавливались и смотрели на нас. И лица у них у всех были какие-то сморщенные... То ли жалко им нас, то ли брезгуют. Когда мы наконец добрались до лагеря и миновали лагерные ворота, где по обеим сторонам стояли автоматчики с рвущимися с цепи, лающими овчарками, нас подвели к какому-то строению. Душевой. Приказали снять с себя всё. Одежду, обувь... Там, в предбаннике, брили одного за другим налысо и заталкивали в душевые отделения. Вода из душа лилась холодная как лёд, а под конец почти кипятком пошёл. После нам выдали штаны и хлопковые полосатые куртки. Я увидел на куртке нашитый номер и неболь-

<sup>1</sup> Основной лагерь (нем.).

<sup>2</sup> Быстрей, быстрей! Встать! (Нем.).

шой треугольник — «винкель». Как я понял, его цвет указывал на категорию, к которой я принадлежал. «Винкель» русских узников концлагерей был красный, перевёрнутый. Им метили военнопленных. Вместо обуви мы получили деревянные колодки, которые привязывались к ногам верёвками. Чтобы помягче было, мы потом припорошили подкладывая туда бумагу, подбивали на пятку кусочек тряпки или кожи. После этого становились в очередь на регистрацию. Мы говорили своё имя, фамилию, место и дату рождения, национальность, профессию, которую получили до войны, особые приметы, ну там родинки, шрамы, а немец в блестящем пенсне сидел за столом и вносил всё в специальную карточку. Раздражённо поправлял, когда непонятно говорили. При нём был поляк-переводчик. Орал и на поляка, если не понимал. По нему было видно, что душегуб! Ну, сфотографировали каждого у белой стенки в профиль и анфас. Лагерь, куда нас привезли, вмещал тысяч десять человек. В каждом бараке где-то было под триста мест, но лагерное начальство умудрялось туда впихнуть до восьмисот. Просто вповалку лежали. Русских поместили в худший барак. Кормили совсем несъедобной баландой.

Фабрикантам ихним, фермерам очень нужна была дешёвая рабочая сила. Свои же все на фронте. Кому работать? Местные биржи труда связывались с лагерями. Прогнали пленных. Вот нас распределили дальше по арбайтсмандам и посылали туда, откуда приходили заявки. Наша команда делала насыпь на железной дороге. Там нам давали по шесть картофелин в день и чай. Работали без отдыха и перерывов, если остановился — били по спине прикладом. Жадные были немцы. Они бы хотели, чтоб мы вовсе без еды вкалывали. Мы ж не люди. Возили нас и на восток. По двенадцать часов в день, сколько уж месяцев, не помню, мы надрывались на каторге в каменоломне. Половина из нашего барака не вернулась назад. На заводах работали. Жили из нас вытягивали на полях больших немецких хозяйств, гнули мы на них спину на полях дотемна.

Многие из моих товарищей по бараку не выдерживали, от отчаяния бросались на проволоку, но не успевали добежать — их расстреливала охрана с вышек, которых было несколько по периметру лагеря. Там сидели караульные с винтовками и пулемётами. Часовые сменялись каждые три часа. Нейтральная полоса, прожекторы...

Мария вся сжалась, будто через неё прошёл этот разряд тока. В фильмах что-то подобное видела, но чтобы вот так, от первого лица! Пожалуй, впервые в этот вечер Маша для себя всем существом осознала всю идеальность, до последнего винтика, разработанную и функционирующую безотказно систему немислимых, бесчеловечных злодеяний, которую выстроили немцы и имя которой — нацизм. Они придумали убивать в белых перчатках, бесконтактно, не касаясь грязных недочеловеков. Ведь кто-то же конструировал самооткрывающиеся печи и механические гильотины, душевые, они же газовые камеры, и ещё чёрт знает что! Этот анонимный «изобретатель» пил, ел, слушал музыку, любил, у него, возможно, были дети... Как можно отделить себя от других людей, вознести свою нацию на вершину мира, назначить себя избранной кастой, имеющей эксклюзивное право на власть и жизнь на Земле, а остальному человечеству отвести роль рабов, низших существ, которым дозволяется только работать для Германии? Работать и умирать. У немцев есть выражение «man nimmt es nicht wahr». Перевести его можно как «это не воспринимается» (сознанием). Безличная форма. Кто-то обезличенный не воспринимает нечто как реальность. Этого просто нет. Вот и людей этих для них не было. Немецкий язык таит в себе немецкое самосознание. Однако несмотря на ухищрения лингвистики и расовой теории превосходства нацистов, сейчас напротив неё сидел человек, который — БЫЛ. Все их зверства видел, всё испытывал, и сейчас он — живой свидетель — скрипучим стариковским голосом рассказывал ей о позорных и страшных страницах истории этого народа, иногда на мгновение замолкая, со свистом вбирая воздух, чтобы, отдышавшись, продолжить.

— С чехами и французами обращение было куда лучше, — продолжал старик. — А к нам, русским, относились как к скотине. Я один раз не выдержал, спросил у охранника, почему такая разница? Французов кормят хорошо и вообще они пользуются всякими благами. Охранник, ухмыльнувшись, ответил, что французы едят только то, что посылает Международный Красный Крест. «А ваш Сталин сказал, что у него пленных нет, а есть только предатели»...

Алексей Иванович говорил и говорил. Маше было жутко, но в то же время она боялась пропустить малейшую подробность из его повествования. Она не имела права не слушать. Она теперь тоже была свидетелем.

— На заводах пленные от усталости и недосыпа часто получали тяжёлые травмы во время работы у станка. Не уберёжешься — так пальцы отрывало, кисти рук. Тогда их отправляли в один из лазаретов военного округа, а на освободившееся место тут же присылали другого узника. Конвейер смерти.

Коммунистов, подпольные лагерные ячейки выявляли, расстреливали. Сексоты выдавали. Гестапо внедряло провокаторов в каждый барак. Но мы всё равно не были

оторваны от мира. Пленные, которые работали на кухне, в офицерской столовой, приносили новости с фронтов. Прислушивались к разговорам офицеров и передавали по эстафете. Знали мы и про победу под Сталинградом, про Курскую дугу. У нас имелась самодельная карта, один пленный — он был до войны геологом — нарисовал, и на ней мы отмечали, как продвигается Красная армия. Карту прятали надёжные заключённые в разных местах барака. Если бы немцы её нашли, то, конечно, несдобровать бы нам. После каждого такого поражения фашисты ходили смурные. Орали, зверствовали. Гоняли нас по плацу. Не дай бог, кто улыбнётся.

Я помню тот день... когда пришли американцы, — вдруг без перехода отрезал он, как будто не в силах больше вынимать из себя эти видения. Боль и смерть. — Я в первый раз увидел чёрных солдат. Они всех обнимали и кричали: «Рашен! Рашен!» С тех пор у меня осталось на всю жизнь, что американцы, мои освободители, — друзья. Они никогда не будут воевать с русскими.

Я сразу хотел ехать назад в Россию, — оживился Алекс, словно перепрыгнув самое страшное. — В мечтах представлял, как встретит меня мать, младшая сестрёнка на родной стороне, как я обниму их. Но я был настолько болен, трясла малярия, что совсем не мог ходить, не то что одолеть путь до дома. Меня положили в американский госпиталь. Американское командование переделало его из помещения, где был раньше лагерьный лазарет. Заодно лечил ногу. Она гнила до кости. За нами ухаживала среди прочих одна молоденькая санитарка, немочка, которая немного говорила по-русски. Звали её Эрна. Шустрая девчонка. Она делала перевязки, кормила тех, кто сам не мог есть. Однажды, когда я метался в жару, вдруг почувствовал, как на лоб мне положили что-то холодное. Открыл глаза. Эрна стояла и с жалостью смотрела на меня. Погладила по руке. Я схватил её руку и не отпускал.

Меня так давно никто не жалел. Одним словом, разнюнился я перед девчонкой, да ещё и перед немкой. А она другой рукой вытащила из кармашка халата марлю и вытирала слёзы, которые я изо всех сил пытался сдержать, и тихо шептала: «Alles wird wieder gut. Du wirst wieder gesund»<sup>1</sup>.

Приносила мне то шоколадку из своего пайка, то яблоко. А как-то принесла селёдку с хлебом. «Essen! Ешь! Витаминен». Мне было неудобно. Делился с другими. «Ишь как немочка-то к тебе», — подтрунивали надо мной, конечно.

У нас в госпитале лежало много заморенных голодом узников лагеря Цигенхайн. Еды давали на доньшке. Нельзя сразу. Помаленьку увеличивали пайку, но всё равно не все выжили. Остальных, кто был полегче, либо отправляли в другие госпитала, либо домой. Многие, кто мог ходить, несмотря на раны и немощь, тут же уезжали. Американцы готовили документы на бывших узников, подгоняли вагоны, грузили, отправляли в разные концы Европы.

Однажды, когда я понемногу пошёл на поправку, мы сидели на тёплом солнышке у корпуса лазарета. Серёга, солдат-артиллерист из соседнего барака, рассказывал, что недавно получил письмо от друга по полку. Всех, кто был в плену, НКВД и СМЕРШ отправляют на проверку, в фильтрационные лагеря, многих потом на Соловки, в Норильск, в шахты, если, конечно, не расстреливают. «Думают, что мы шпионы, — криво ухмыльнулся он. — Нас же американцы освободили? Ну вот. Значит, мы для СМЕРШа предатели и американские шпионы. Уразумел? — и пихнул меня в бок. — А что ты будешь делать?» — ко мне, значит, так хитро в душу влезает. Уж не знаю, зачем ему хотелось меня за собой потащить?

Выбило меня это всё из колеи. Самому-то мне не терпелось попасть домой. Казалось, что все мучения позади, ничего страшнее быть уже не может. Будь что будет!

«Я лично уеду в Штаты. Есть тут один. Обещал документы сделать, на работу там поможет устроиться. Американцы вообще молодцы. Готовы помочь. Зовут с собой. Хочешь, и за тебя тоже похлопочу?» — Серёга потрепал меня по плечу. «Нет! Я не предатель! Не хочу тебя слушать!» — я отказывался наотрез. Я всё ещё не хотел верить в его рассказы. «А я предатель, да? — взвился Серёга. — Не будь ты дураком!»

Помолчали. Спрашиваю его: «А у тебя дома разве никого не осталось, что так норвишь сбежать?» Серёга был готов ехать в далёкую неизвестную Америку, а не домой! Чудно было слушать его и страшно. «Как же? Мать. Невеста была». А я говорю: «И ты уедешь?» — «Ясно, уеду! А ты что, хочешь сгнить в лагерях? — зло заорал Серёга. — У этих чуть богу душу не отдали. А от своих не хочу! Пожить хочу, наконец, как человек. А наши измордуют и сошлют к чёрту на рога».

У меня от всего услышанного в глазах потемнело. Даже голова закружилась. «Не может быть! Мы такой ад здесь прошли. Всё расскажем, как было. Работали. В вертухаях не ходили. Должны поверить». — «Жди! Поверят они! Смершевцы — собаки цепные!»

<sup>1</sup> Все будет хорошо. Ты снова будешь здоров (нем.).

Эрна, видно, не найдя никого в палате, выглянула из двери лазарета. Через минуту пробежала, везя на тележке ворох грязного постельного белья, через двор, к хозяйственным пристройкам. Там была прачечная. Зыркнула на нас своими чёрными глазами, погрозив нам пальцем. Серёга гыкнул: «Вон немка тебя караулит. Нравишься ты ей. А она ничего. Работящая. Снуёт целый день туда-сюда».

Старик улыбнулся.

— Эх, Мария... Ты вот на меня смотришь сейчас и думаешь, мол, старая развалина, да? — он покосился на Машу.

— Да что вы?

Маша смутилась.

— А я тогда была молодой высокий, голубоглазый, волосы ещё густые были. Светлая шевелюра. Парень хоть куда! Правда, худой, просто жуть! А девчонка-то была маленькая, как мышка. Ничего особенного. Но я запомнил, как поила меня, когда бредил, подкармливала.

Проходя обратно, Эрна крикнула, обращаясь больше ко мне: «Komm. Du bist noch zu schwach. Du wirst dich erkälten<sup>1</sup>, — увидев, как все смеются, нахмурилась. — Ich sage Bescheid Doktor Thompson!»<sup>2</sup> — пригрозила она, обедавая всех взглядом своих уголков. Строго поджала губы.

Врача все боялись. Нарушать режим было нельзя. Больные поднялись, собрали кофты и поплелись в палату, поддерживая друг друга.

Лежу я на кровати. Закрыв глаза. Разговор с Серёгой никак не идёт из головы. Как же так? Победа. А нас что же? Опять в лагерь? А я-то, дурак, надеялся, мечтал дожить до освобождения. Ведь как подумаешь, что многие из русских, дружков моих по бараку, ребят из рабочей команды, его так и не дождались! А мне повезло, и вот... Разве кто думал о том, что дома ждёт тюрьма? Главное было выжить здесь, в этом аду. Я хорошо работал. Комендант барака, фашистская морда, приметил меня, подозвал. Говорит мне — научился, сволочь, коверкать слова по-русски: «Ти карош работа. Будешь каро<sup>3</sup>. Будешь денег больше. Будешь?» — и строго смотрел, постукивая плёткой о начищенный сапог. «Герр блокфюрер!»<sup>4</sup> Я лучше в рабочей команде. Не умею я командовать».

Избили меня, конечно, за упрямство, сапогами, так, что кровью харкал, — и в карцер. Без еды и воды. Выполз оттуда — тень от меня осталась, еле ноги передвигал, — а не согласился быть старостой, чтобы колотить на потребу немцам своих же, а ведь были и такие. А как свирепствовали фашисты в пересыльных лагерях!! Били до беспамяатства, кости ломали, расстреливали без числа. Им все казались коммунистами и комиссарами. Всех подозревали. Одного командира мы выдали за солдата. Предал стучак. Расстреляли. Нет. Решил, что всё дома, в России, расскажу. Не могут мне не поверить! Мать ждёт, сестра. Нет. Домой!

Эрна жила не в домике для обслуживающего персонала, а у тётки в городе, недалеко от госпиталя. Однажды в воскресенье, когда я уже более-менее оправился от болезни, немочка моя попросила меня починить у тётки проводку. Свет временами гас. Она видела, как я в госпитале чинил аккумулятор, налаживал трофейный радиоприёмник, оставшийся в лазарете от немцев. Я вообще хорошо соображаю в технике.

Ну так вот... Справился я с работой и хотел уходить, но Эрна предложила поесть. На столе стояла бутылка со шнапсом. Копчёная грудинка, селёдка. Картошечка.

«А где твоя тётка?» — спросил я. Вроде никого кроме нас в доме не было видно. «Она работает на вокзале. Сегодня в ночную».

Эрна сидела близко от меня, и ещё от неё шёл слабый аромат духов. «Ешь!» — встав, она положила мне на тарелку ещё грудинки. Увидел вырез её цветастого платья. Обнял её за талию. Она не отстранилась. Потом целовались на тахте с высокой резной спинкой, и вдруг, не знаю, что со мной случилось, накатило на меня, понимаешь... Ну это самое... Слоники сыпались на нас с полки над тахтой, и Эрна смеялась.

Моё отсутствие в госпитале заметили. Доложили американскому начальству. Вызвали в военную комендатуру. Веснушчатый огненно-рыжий капитан в американской морской форме что-то перекачывал во рту. Переводчик из местных переводил: «Вы вступили в связь с немкой. Я вынужден это зафиксировать. Русские этого не одобряют. Весь архив лагеря и ваша больничная карточка тоже передаются русским. Вы знаете, что с вами будет?»

В этот момент я растерялся. Не знал, что ответить. Шёл потом к госпиталю пешком и думал. Эрна стояла на пороге. А она ничего. Хорошенькая!

<sup>1</sup> Пойдём! Ты еще слаб. Ты можешь простудиться (нем.).

<sup>2</sup> Я все расскажу доктору Томпсону! (Нем.)

<sup>3</sup> Заключенный в концентрационном лагере, который осуществлял надзор и инструктировал других заключенных в качестве сотрудника руководства лагеря и в обмен на льготы.

<sup>4</sup> Blockführer (нем.) — комендант барака.

«Алекс! Что случилось?» Ну что делать? Рассказал ей о том, чем пригрозили американцы.

«Не возвращайся в Россию. Тебя там убьют!» — и она уткнулась мне в грудь и заплакала. «Дура! — отпихнул я её. — Свой убьют?! За что? Что я сделал? Ты что говоришь? Ты сама фашистка, как и все у вас! Это вы, фашисты, в своих сзади стреляли. Уйди!» — видеть её не хотел. Хлопнул дверью палаты.

Серёга сидел у окна и, прикинув к приёмнику, слушал, как что-то пел по-английски женский голос. «Трудный язык, — озабоченно пожаловался он, указав на радио. — Только немецкий понимать стали — и опять двадцать пять. Новый язык учи». — «Да выключи ты эту шарманку!» — «Ты что такой?»

Пришлось рассказать про комендатуру и угрозы рыжего. «Говорю, поедем со мной в Америку!» — опять начал приятель. «Да пошёл ты со своей Америкой!» — «Ты всё равно теперь уличён в связи с немкой. Наши этого не простят. Здесь был в штрафлагере и там загремишь в такой же. Эрна — девушка сообразительная. С русским мужем её никто не тронет — ни свои, ни чужие». Приятель понимающе хохотнул.

...Алекс пододвинул к себе рюмку. Залпом опрокинул в глотку. Пока рассказывал — не притронулся. Маша уже весь свой сок давно допила от волнения. Так погрузилась она в его повествование, будто это с ней происходило.

— А что было дальше?

Алексей посмотрел на неё тяжёлым взглядом своих бесцветных глаз.

— Ничего. Ночь не спал. Потом нашёл Эрну. Извинился. Выходи, говорю, за меня замуж.

— А как же мама, сестра? Ой, извините меня! — Маша прикрыла рот ладонью.

Старик вздохнул.

— Им только бы хуже было. Пленный, на немецкой территории. И сообщать не стал. Проговорились бы, искать начали. Да и потом... Тогда писем не писали. Нельзя было. Ушлый Серёга договорился с капитаном за бутылку виски, и мою карточку изъяти. Для всех я пропал без вести, как и он. Лучше уж так.

— Как же? — растерялась Маша. — Но сейчас-то уже ведь можно домой.

— Сейчас... — он усмехнулся. — А зачем?

— Вы так и не знаете, что с ними стало? С мамой, сестрой?

— Нет.

Маша понимала, что историю плена и страданий, которую он ей сейчас поведал, он никому до этого не рассказывал и уже, видимо, никому больше не расскажет. Она чувствовала, что это была искренняя исповедь. Человеку надо в конце жизни кому-нибудь открыть, что его гнетёт, вырвать из души, выговориться, и она была благодарна этому русскому, волею судьбы оторванному от Родины человеку за то, что именно ей он доверился, разделил с ней тяжёлую ношу. Он передал ей память. Скорбную память. Но мы для того и живём, чтобы помнить и передавать детям. Это предупреждение идущим за нами, но и надежда, что они будут лучше нас.

Он подозвал кельнершу.

— Ещё один шнапс.

Потом был ещё один. И ещё...

За окном уже засинел вечер. Тревожно качались платаны, шурша жёлтыми сухими листьями о стёкла. Должно быть, к непогоде. К тому времени, когда старик закончил своё повествование, стали потихоньку собираться посетители к ужину. В воскресенье немцы любят семьями, с детьми и внуками, ужинать в ресторане. В очередной раз зазвенел колокольчик. Дверь приоткрылась. В неё просунулась, вот именно просунулась, маленькая старушка в кудельках. Увидев её, Маша вспомнила, что дамы преклонного возраста в Германии спят с сеткой на голове, моют голову и делают укладку каждую неделю. От салона до салона.

Старушка обвела глазами столики и засемила по направлению к ним. На ней были туфельки на каблучках. И она выстукивала ими. Тук-тук-тук.

— А вот и моя женушка! — притворно радостно воскликнул Алекс и чуть не упал со стула, пытаясь подняться.

Эрна привычно кивнула кельнерше и с удивлением остановила на Марии внимательный взгляд своих маленьких, близко посаженных чёрных глаз, как будто хотела спросить: «Это ещё что за птица?»

— Эрна! 3-3-3-знакомья. Это р-р-русская. Мария. Сноха Уты Хаммес.

— Рада познакомиться, — Маша приподнялась из-за стола и подала ей руку.

Эрна, видимо, была не в восторге от присутствия молодой незнакомой русской. Неужели она до сих пор ещё боялась, что кто-то может увести её Алекса? Тоже поздоровалась. Сухо пожаловала руку.

Старика от шнапса развезло. С трудом, покачиваясь, поднялся, бросил на стол деньги. В следующий момент эта маленькая старушонка, обхватив его сзади и повесив

его руку себе на шею, повела, как раненого, к выходу.

Маша очнулась, огляделась вокруг себя. Всё услышанное произвело на неё неожиданно сильное впечатление. Освещение в ресторане было неярым, за занятыми столами горели свечи. Пламя их колебалось от лёгкого сквозняка и сигаретного дыма. Может, ещё и от этого сумрака улыбчивая кельнерша, порхающая между столами с посетителями, закатывающимися в смехе над чьей-то весёлой шуткой, и сами они, как на «Капричос» Гойи, обрели в её глазах совсем иные ужасные лица, ведь каждый из них так или иначе являлся потомком тех, кто мучил и убивал, кто набросил чёрную тень несмываемого преступления на само слово «Германия». Сон разума рождает чудовищ. Как будто невидимая стена отделяла её теперь от них и, похоже навсегда. Она встала и вышла вслед за стариками. Огляделась. Зябко повела плечами. К вечеру похолодало. Темнело. С полей напал туман, заволакивая улицу. Эрна подтащила Алекса к припаркованному у ресторана «мерседесу» Е-класса и открыла дверцу для мужа. Маша заметила про себя, что все старые немцы покупают люксовые машины марки «мерседес». В молодости мечтают, а только в старости покупают, могут себе позволить.

Неожиданно Алекс обернулся, сделал два шага к Марии, крепко, так, что стало больно, сжал её руку чуть повыше локтя и прохрипел по-русски, выдыхая в неё вместе со шнапсом отдельно каждый слог:

— Я их всех не-на-вижу! Всю жизнь их не-на-вижу! — он обвёл мутным взглядом тихую деревенскую улочку.

— Алекс? — старушка уже сидела за рулём.

Случайный собеседник Марии грузно плюхнулся на переднее сиденье и с отвращением захлопнул дверь.

— Пристегни ремень! — напомнила ему жена.

Серый «мерседес» вильнул между домами и растаял в тумане вместе со своим пассажиром. Или это была только тень, которая привиделась Маше в полутьме ресторана? Трагическая тень прошлого.